

М. С. ГРУШЕВСКИЙ

Самовидец Руины и его позднейшие отражения

Среди разнообразных достижений украинской историографии за последние годы, больших и малых, заслуживают внимания интересные результаты, достигнутые в обследовании так называемой «Летописи Самовидца», долгое время считавшейся самым важным историко-литературным памятником козацкой эпохи и действительно представляющей крупный историко-литературный интерес.¹

Свою высокую, во многом преувеличенную, как теперь оказывается, репутацию это произведение приобрело, главным образом, в последней четверти XIX в. В XVIII в. оно не пользовалось популярностью, вопреки высказывавшимся в литературе суждениям о большом распространении его.² Его пессимистическое настроение, холодное или недоброжелательное отношение к наиболее прославленным героям борьбы за освобождение, начиная с самого Хмельницкого, не отвечало настроениям украинской интеллигенции XVIII в., усиленно идеализировавшей эту освободительную борьбу. Поэтому история Грабянки, написанная в тонах триумфальных, панегирических, видимо, вытеснила из обихода «Летопись Самовидца». Бантыш-Каменский, составлявший в начале 1820-х годов свою «Историю Малой России» с помощью любителей украинской старины кружка Репнина, не знал «Самовидца»; он познакомился с летописью затем только в Москве в великорусской редакции XVIII в., сделал о ней сообщение в Московском

¹ В настоящей статье излагаю содержание главы, посвященной этому памятнику в VI томе «Истории украинской литературы», заканчиваемом мною в настоящее время.

² Акад. Ор. Ив. Левицкий в своем исследовании о летописи «Самовидца» писал (в 1878 г.): «К концу первой половины XVIII в. летопись эта служила любимым чтением тогдашних книголюбцев и была значительно распространена в обществе, на что указывает множество списков ее этого времени, найденных в разных местах левобережной Малороссии» (стр. 5). Этот отзыв повторяется до последнего времени, но в действительности рукописных списков летописи сохранилось немного, и ничто не указывает на ее распространение в XVIII в.

обществе истории и древностей, в начале 1824 г., и включил в реестр своих источников во втором издании «Истории Малой России», 1830 г.,¹ но не придал особенного значения в ряду этих источников. Только в 1840-х годах Кулиш, случайно натолкнувшись на эту «Летопись» и увлекшийся новою для него и необычною после панегиризма XVIII в. «объективностью» ее, стал усиленно создавать ее репутацию.² Он начал поиски ее списков, задумал написать исторический роман на основании ее рассказа о Нежинской раде 1663 г. (из этого получился его знаменитый исторический роман «Черная Рада»), носился с планом исследования о ней, как историческом источнике, — охладев в конце концов к этому плану, заинтересовал им своего товарища П. Я. Сердюкова, открывшего автора этого произведения, а самое главное — побудил Бодянского издать в «Чтениях» за 1846 г. текст его под названием «Летопись Самовидца», которое дал ему тот же Кулиш, не в пример прочим авторам, писавшим об эпохе Хмельницкого, дескать, только по наслышке.

Эти усиленные рекомендации достоверности и важности открытого им источника и шум, поднятый вокруг него, впервые заставили исследователей обратить на него серьезное внимание. Хотя Максимович несколько брюзгливо отметил, что «Летопись Самовидца» была новостью для самого Кулиша, но не для старых «любителей малороссийской старины» Клева и Харькова, давно знавших эту летопись,³ но остается фактом, что только «открытие» Кулиша и издание Бодянского заставили этих любителей внимательнее отнестись к этому памятнику и оценить его достоинства. Затем резкая критика Г. Карпова, противопоставившего «Самовидца» другим произведениям старой украинской историографии, как единственный ценный исторический источник,⁴ еще более повлияла на высокую, можно сказать, восторженную думку «Самовидца», как исторического источника. Покойный акад. Орест Ив. Левицкий, тогда еще молодой начинающий ученый, положивший новым изданием «Самовидца»⁵ первое основание своего научного авторитета, критически проработав на основании новых, лучших

¹ Под № 17 «Летописец малороссийский с 1340 по 1734 г.» подарен Обществу истории и древностей российских д. чл. Е. Д. Нечаевым. Доклад о нем: «Труды и летописи Общества истории и древностей российских», ч. III, кн. 2, стр. 63—65.

² «Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в малой России. Доведена продолжателями до 1734 года», «Чтения», год II, 1846 г. и отдельно.

³ Собр. сочинений, т. I, стр. 525.

⁴ Главным образом в книге «Начало исторический деятельности Б. Хмельницкого», 1843.

⁵ Летопись Самовидца по новооткрытым спискам, 1878.

списков текста летописи, в своем исследовании о ней, остававшемся до последнего времени самым главным и собственно единственным научным трудом, посвященным этому памятнику,—отметил в нем только три исторических погрешности и считал, что их незначительность только подтверждает «высокий авторитет достоверности, каким заслуженно пользуется эта летопись» (стр. 76). С тех пор до самого последнего времени, на протяжении целого полувека принято было говорить о ее точности, достоверности, объективности, даже протоколярности и фотографичности. Так, напр., акад. Возняк в своей «Історії укр. літератури» (III, стр. 381, 1924), подводя итоги предшествующих оценок, противопоставляет прочим, так называемым козацким летописям объективное и фотографическое изображение событий у «Самовидца», а В. Романовский в специальном исследовании о его личности подчеркивает «правдивость его известий, полноту и широту сведений, удивительное беспристрастие, объективизм».¹

Правда, такие восторженные оценки исторической достоверности «Самовидца» держались в последнее время больше по инерции. Накопление документального материала для истории Украины XVII в. на протяжении последних десятилетий и анализ известий все чаще давал повод констатировать неточность рассказов «Самовидца».² Н. Н. Петровский, специально занявшийся этим вопросом, в 1926 г. отметил уже такое множество мелких и крупных ошибок и неточностей в описании событий эпохи Хмельницкого в рассказе «Самовидца», что перечислил его в разряд источников второстепенных, хотя оставил за ним первое место среди украинских летописей. Но решающее значение для оценки *fides historica* «Самовидца» имело разрешение загадки личности этого анонима.

Все списки его произведения не имеют ни заглавия, ни имени автора. Наиболее старые и авторитетные копии имеют в начале только частный заголовок, относящийся к первой главе: «О начале войны Хмельницкого»; скомбинированная из двух старых списков, по указаниям Кулиша, так называемая «копия Юзefовича» прибавила к этому слово «летописец», так что получилось нечто вроде общего заглавия «Летописец о начале войны Хмельницкого». Имя автора не указано нигде, и теперь, когда это имя раскрыто, создается впечатление, что это отсутствие имени не было случайным, что автор действительно хотел скрыть свое авторство умышленно

¹ «Хто був Самовидець», Україна 1925, кн. 5, стр. 60.

² Так В. О. Эйнгора в своих «Очерках из истории Малороссии XVII в.» (1889), не нарушая общей характеристики «замечательно верного рассказа Самовидца», отметил его «неверные сведения о частностях» (стр. 218).

и сознательно, чтобы сообщить своему произведению возможно большее впечатление объективности (что, как видим, ему действительно и удалось). На протяжении его он трижды упоминает о себе, как об очевидце тех или других описываемых событий, вероятно, тоже с умыслом, чтобы придать больше авторитетности своему описанию. Эти места я приведу ниже; они и дали повод Кулишу окрестить это произведение «Летописью Самовидца» в отличие от других «козацких летописей».¹ Но при этом он не дает никаких указаний, которые могли бы помочь определить, кто был этот очевидец. С другой стороны он несколько раз называет себя, своих детей, свою судьбу, но всегда как что-то постороннее, ничем не намекая на то, что это имеет какое-нибудь отношение к автору произведения. В особенности ясно выступает это предумышленное затирание всяких указаний на свою авторскую личность в истории патриаршего проклятия, наложенного на гетмана Многогрешного стараниями автора для того, чтобы заставить его вернуть разграбленное у автора имущество: как увидим ниже, он обстоятельно изложил этот эпизод в поношение низвергнутого гетмана; назвал имя привезшего это проклятие — свое собственное имя, но ничем не намекнул, что это имя автора летописи, и тем действительно довольно искусно отвел от себя след.

Несмотря на все это, как теперь обнаружилось, авторство его в полной тайне не осталось. Оказывается, что упомянутый Сердюков видел в 1840-х годах список истории Грабянки, в котором при изложении «конотопского чуда» 1652 г., почерпнутого из «Летописи Самовидца», имелась приписка: «Судья Романовский написа сие».² Сердюкову, очевидно, удалось расшифровать это указание: он установил, что тут нужно разуместь Романа Ракушку-Романовского, нежинского полкового судью 1650-х годов, и что этот Ракушка, нежинский сотник, позже протопоп браславский, был действительно автором «Летописи Самовидца», описавшим, между прочим, и «конотопское чудо». Сердюков собирался доказать все это в специальном исследовании о «Самовидце»; мысль эта долго его занимала, но осуществить

¹ «До питання про певність відомостей літопису Самовидця и про автора літопису». Записки ніжинського інст. нар освіти, VI.

² В июле 1847 г. Сердюков писал Бодянскому: «У меня есть целая тетрадь выписок из Конисского, Байтыш-Каменского, Симоновского, Самовидца и Грабянки; пять или шесть отрывков из летописи последнего находятся также в Летописце Малой России (т. е. в изданном Туманским тексте Грабянки), — с тою единственно разницею, что здесь язык их, как и везде в этом Летописце, гораздо свежее. Впрочем, известия о паволочском поповиче, о котором Грабянка распространяется с таким участием, нет у Туманского, и про конотопский колодез упомянуто мельком, без критики: «судья Романовский написал сие». Эти письма Сердюкова к Бодянскому оставались до сих пор неизвестными. Отрывок приведен у Петровского в «Нариси історії України», стр. 177.

свой план ему так и не пришлось. Единственным следом его открытия осталось письмо к Бодянскому Кулиша, 22 октября 1846 г., в котором он сообщал: «Давний мой знакомый и соученик, некто Сердюков, человек неизвестный, но великий любитель и знаток украинской истории... доказывает, что сочинитель «Летописи Самовидца» был Ракушка сотник, а потом протопоп».¹ Письмо это было опубликовано в 1897 г., но открытие Сердюкова не обратило на себя внимания исследователей, вероятно, потому, что совершенно не известны были факты, из которых он исходил, в том числе и упомянутая приписка о Романовском. Однако, совсем втуне оно не осталось. Думаю, что именно этот домысел Сердюкова понудил покойного В. Модзалевского, специалиста в области хозяйства Северной гетманщины, заняться биографией Ракушки, оставившего по себе заметный след в организации войскового хозяйства, в роли администратора полковых доходов, а затем первого генерального войскового подскарбия. Первый очерк его биографии явился еще в 1913 г., более тщательная и подробная обработка этой же темы была напечатана в 1919—1923 гг.² Покойный исследователь очень полно и тщательно подобрал материал, освещающий пункты соприкосновения биографии Ракушки с автобиографическими моментами «Летописи Самовидца», так что хотя непосредственных указаний на эту сторону деятельности Ракушки его работы не дали, но параллелизм оказался настолько ярким и исчерпывающим, что после появления последнего биографического очерка сразу, почти одновременно, на протяжении нескольких месяцев появились три специальные работы о «Самовидце», досказавшие то, чего не сказал Модзалевский: что «Самовидец» это несомненно Роман Ракушка, нежинский сотник, позже генеральный подскарбий, брацлавский протопоп и, наконец, с 1670-х годов и до конца своего (ум. в 1703 г.)—стародубский священник. В более или менее категорической форме такой взгляд высказали в 1925—1926 гг. киевский археограф В. А. Романовский, нежинский проф. Н. Н. Петровский, киевский проф. А. П. Оглоблин.³ Львовский молодой историк М. Андрусак

¹ Киевская Старина, 1897 г., кн. 10, стр. 32.

² Роман Ракушка, один из деятелей «руины». Труды Черниговской архивной комиссии, 1913 г., кн. X. «Перший військовий підскарбій (1663—69) Роман Ракушка». Записки іст.-філолог. відділу Укр. Акад. Наук, т. I, 2—3. Также «Малоросійський Родословник» 1914 г., т. IV.

³ В. Романовский. «Хто був Самовидець», Україна, 1925, кн. 5. М. Петровский. «До питання про певність відомостей літопису Самовидця и про автора літопису (Романа Ракушки-Романовського)». Записки ніжинського інст. нар. осв. 1926, кн. 6. Ол. Оглоблін. «До питання про автора «Літописа Самовидця». Записки істор.-філ. відділу Укр. Акад. Наук, 1926 кн. VII—VIII. Проф. Оглоблін отметил, что свою статью, в которой авторство Ракушки устанавливается в менее категорической форме, чем в двух других исследованиях (скорее как

подверг их выводы тщательному пересмотру в специальной статье и тоже признал их в общем убедительными, хотя лично считал 'автором летописи другого участника борисовской комиссии, Быховца, а не Ракушку.¹ Наконец, Н. Н. Петровский еще раз пересмотрел вопрос в большой специальной работе о «Летописи Самовидца», вышедшей в начале 1931 г.,² и на мой взгляд в результате всей проделанной работы можно считать несомненным, что летопись была произведением Романа Ракушки, — настолько точно совпадают биографические данные о нем со всеми указаниями летописи, и настолько ясно, ярко и убедительно разрешаются этой биографией отражения авторских переживаний и впечатлений, сохраненные этим произведением: все то, что можно вывести из его содержания, вполне и без остатка покрывается тем, что мы знаем теперь о Ракуше, и почти невозможно себе представить, чтобы какие-нибудь новые данные могли разрушить или поколебать это тождество.

То, что мы знаем теперь об этом незаурядном деятеле XVII в., сводится к таким главнейшим данным.³ Родился он около 1622 г. В завещании своем, писанном в мае 1701 г., он упоминает, что в это время ему было «близко осмидесят». Отец его, Онисим Р. принадлежал к числу нежинских старосельцев: в том же завещании он напоминает, что его отец пришел, когда Нежин был еще слободой, и сам «рубил лозу и березу и строился». Это подходит к условиям нежинской жизни 1620-х годов — первым годам жизни Романа Р. Та часть Нежина, где находилась эта отцовская усадьба, носила, очевидно, название «Романовского кута», и семья Ракушки прозывалась также Романовскими; это делает весьма правдоподобным предположение, что Онисим Р. был выходцем из м. Романовки Брацлавского воеводства, где во времена

гипотеза, чем решительное утверждение), он написал еще весной 1924 г. и тогда же огласил в публичном собрании своего семинария; но в свет она вышла после двух вышеназванных работ. Н. Н. Петровский в своей новейшей работе (см. ниже) отмечает, что все три исследователя, доказывая авторство Ракушки, оставались в неведении, что эта мысль была высказана еще в 1840-х годах Сердюковым, была известна Кулишу, Бодянскому и др. Об этом напомнил, по поводу статьи Романовского, А. Н. Дорошкевич в «Украине», 1925, кн. 6.

¹ М. Андрусак, «До питання про авторство літопису Самовидця». Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 1928, т. 149.

² «Нариси історії України XVII — початку XVIII століть (Досліди над літописом Самовидця)», Державне видавництво України, Харків, 1930. Это большая книга, 453 страницы убористой печати; по содержанию она состоит из двух равных частей: первая посвящена авторству летописи, вторая заключает критическую оценку ее достоверности и погодный, очень тщательный критический разбор сообщений «Самовидца», насколько они подтверждаются или не подтверждаются документальными данными.

³ Последние сводки биографического материала о Романа Ракушке в статье Н. Н. Петровского: Українські діячі XVII віку, П. Роман Ракушка (Записки истор. філол. відділу 1931, т. XXV) и в его исследовании о «Летописи Самовидца» (Нариси, стр. 144 и сл.)

Хмельницкого находим также козаков Ракушек, в сотне Романовского (козак Данило Ракуша в реестре Уманского полка 1649—50 г., — эта форма имени применилась и к Роману Р.). Но каково было социальное положение этой семьи до восстания Хмельницкого, остается неясным. Исходя из социальных симпатий «Самовидца», некоторые исследователи склонялись к выводу, что это была семья шляхетская; но такое предположение опровергается фактом, что в семье не было гербовой традиции: Роман Р. в 1650—60-х годах употребляет на своей печати разные гербовые знаки и вообще не обнаруживает каких-либо шляхетских притязаний. Другие исследователи настаивают, что это была семья козацкая, но существование родовитого козачества в Брацлавском воеводстве 1620-х годов едва ли можно предполагать. Онисим Р. мог превратиться в козака в Нежине в 1620—30-х годах; он происходил, вероятно, из семьи мещанской, духовной или крестьянской.¹ Сам он едва ли был церковником, судя по тому, что церковная стихия не отразилась сколько-нибудь ярко на языке, стиле и творчестве его сына, но возможно, что последний перешел в духовное звание, следуя более ранним традициям: может быть, Онисим Р. был поповичем или дьячковским сыном из Романовки. Я считал бы наиболее вероятным, что, поселившись в Нежине, он примкнул к местному мещанству; позже, в 1630-х годах, возможно, стоял в рядах козачества или, по крайней мере, подошел очень близко к козацкой верхушке, а его сын Роман, несомненно, уже с начала восстания 1648 г. стоял в козацких рядах: в реестре 1648—49 г. мы видим его козаком полковой сотни под имени «Романа Раскущенка» (очевидно, неверно прочитанное «Ракущенко»), а в этот реестр новые люди не попадали; за Ракущенко, очевидно, уже был основательный стаж.

¹ Мысль о шляхетском происхождении «Самовидца» (из православной шляхты, примкнувшей к восстанию Хмельницкого) была высказана Левицким в его исследовании о «Летописи Самовидца» и широко принялась в научной литературе: этого взгляда держались, напр., акад. Иконников, акад. Возняк, Липинский, Крипьякевич, Окнишевич и др. Акад. Багалей отверг эту догадку, настаивая на принадлежности Самовидца к козацкой старшине (Нарис. укр. історіограф., II, стр. 8 и сл.). Более подробной критике подверг эту гипотезу шляхетского происхождения Ракушки, Н. Н. Петровский в своей последней работе. Я в своей статье о Кулише, выясняя зависимость его идеологии от идеологии Самовидца (о чем ниже), назвал последнего оказаченным мещанином (стр. 35). Я исходил при этом из того интереса, какой «Самовидец» обнаруживает к роли «значного» мещанства во время восстания 1648 г., его сожаление о том, что «дьявол учинил себе смех з людей статечных», представителей мещанской магистратской старшины, покидавших свои «уряды» и подлаживавшихся всей своей внешностью под козацкие фасоны (стр. 20). В этом видно высокое представление о социальной позиции мещанских верхов, и так как при этом у автора не заметно антагонизма между значным козачеством и значным мещанством (хотя оно в жизни сказывалось достаточно резко), я и склонен был признавать «Самовидца» человеком, считавшим себя своим среди того и другого: вышедшим из знатного мещанства и примкнувшим к знатному козачеству. Совершил ли этот переход еще старик Ракушка Онисим, или его сын Роман, конечно, сказать затруднительно.

О ранних годах Романа Р. — его воспитании,¹ семейных обстоятельствах и т. д. до сих пор ничего положительного не известно. Очевидно, он не получил систематического школьного образования, какое могла дать киевская коллегия или другая подобного характера школа. Об этом можно судить по отзывам о «лядских фортелях» и «превратности гетмана» Выговского: в них чувствуется неблагоприятное отношение к современной польско-латинской школе, какое едва ли бы обнаруживало лицо, само прошедшее подобную школу. Еще более убедительно свидетельствует об этом речь и стиль его произведения, совершенно лишенного риторических украшений, польской, латинской и даже славянской учености; его речь типичная разговорная и деловая, канцелярская речь современного окультуренного, но не книжного человека. Судя по тому, что Роман Р. проявил себя позже специалистом-хозяйственником, знатоком по части стройки и эксплуатации мельниц, руден и т. п., можно думать, что, подрастая, он помогал отцу в хозяйстве, в его деловых сношениях больше, чем занимался накоплением и расширением своих книжных знаний.

Эта практическая складка и хозяйственный опыт, а может быть и родственные связи содействовали карьере Романа Р. в рядах козацкого войска. Несмотря на довольно молодые годы, когда ему едва кончилось 30 лет, мы видим его в рядах высшей полковой старшины, как «дозорцу скарбу войскового в полку нежинском», «ревизора скарбу войскового», сотника нежинского, полкового судьи и наказного полковника. Боевых впечатлений в рассказах «Самовидца» не заметно; едва ли и был он боевиком. Но ему давались очень ответственные поручения административного и дипломатического характера. Так в 1656 г. в звании нежинского полковника (наказного) отправляется он в царскую квартиру под Ригой улаживать щекотливые отношения козацкой оккупации Белоруссии.¹ В 1658 г., в роли нежинского сотника он участвует в возобновлении союза Войска Запорожского с Крымской ордой. В 1659 г., с титулом нежинского полкового судьи, Ракушка отправляется в Москву устраивать отношения, испорченные Гадяцкой унией. В 1660 г. он участвует снова, как нежинский сотник, в переговорах с Польшей в Борисове и т. д.

Конфликт войсковой «черни» со старшинской верхушкой, к которой принадлежал или примыкал Р. Ракушка, летом 1663 г. навис серьезной опасностью над его головой, но какими-то неведомыми путями он своевременно успел отчалить от своих патронов — нежинского полковника Васюты Золотаренка и гетмана Якима Сомка и причалить к кораблю Бруховецкого, вы-

¹ Об этом посольстве Ракушки в моей «Истории Украины-Руси», т. IX, стр. 1264—65.

плывшему на этом движении черни. Возможно, в этот критический для Ракушки момент сыграло решающую роль то обстоятельство, что во время решающей Нежинской рады Бруховецкий со своими сторонниками расположился лагерем в «Романовском куте» Ракушей и мог быть гостем в доме Романа Р. Во всяком случае, последний не только не погиб в этой склоке вместе со своими патронами, но наоборот — его войсковая карьера расцвела еще более пышным цветком и достигла в гетманство Бруховецкого своего апогея. Р. Ракушка стал правой рукой нового гетмана в сфере администрации и финансов; это поручение было стабилизировано в виде новой, до сих пор небывалой должности «генерального войскового подскарбия», которую Ракушка занимал во все продолжение гетманства Бруховецкого (с его падением прекратила свое существование и эта должность, вплоть до второй четверти XVIII в.). Кроме того, ему давались и другие важные поручения в сфере администрации. По поручению гетмана, он должен был провести раздел огромного нежинского полка на три полковые единицы и взять на себя временное управление. Ряд других полков также был поручен на время его управлению. Деятельно занимаясь войсковым хозяйством и финансами, он имел возможность сделать многое и для своего личного благополучия и на широкую ногу поставил свое собственное хозяйство. В позднейших жалобах своих на расхищение его имущества он претендует на забранные в его Почарском имении 400 осмачек хлеба, 6 больших винокурных котлов, 150 свиней и т. д. Перед нами типичное панское имение; его хозяин — представитель новой формации украинского феодализма.

Но этому процветанию Ракушки положило конец восстание 1668 г. На этот раз ему не удалось так ловко переменить лошадь, как в 1663 г. Общее негодование на приспешников Бруховецкого обрушилось и на Ракушку. Имущество его было разграблено, а он сам «унося свое здоровье», принужден был бросить насиженное место и спастись бегством за Днепр.

Свою войсковую карьеру он на этот раз считал так безнадежно испорченной, что решил совершенно переменить род занятий и социальное положение: бросить козачество и заняться церковной деятельностью в своей дедовщине — бывлом воеводстве Брацлавском. Ближе неизвестными нам путями он нашел возможность войти в доверие к митрополиту Иосифу Тукальскому, сподвижнику Дорошенка, принял сан священника, получил должность протопопа брацлавского и дипломатическое поручение к константинопольскому патриарху: уладить на месте разные иерархические нестроения. Улаживая эти дела при патриаршем дворе, новоиспеченный протопоп выхлопотал ценную бумажку и лично для себя: не более, не менее как отлучение от церкви гет-

мана Многогрешного, пока он не возвратит разграбленного имущества «честному отцу Роману, протопопу брацлавскому». При помощи этой бумажки хитроумный протопоп рассчитывал принудить гетмана к возмещению проторь и убытков, а, быть может, в процессе торгов и переторжек договориться с ним относительно своего возвращения в родные палестины. По возвращении он послал гетману копию патриаршего отлучения, просил вернуть заграбленное имущество и в таком случае обещал прислать подлинную патриаршую грамоту без всякой огласки, предать молчанию весь инцидент; в противном случае грозил огласить отлучение и создать всяческий шум вокруг него. Но гетман не пошел на торги и уступки, как рассчитывал Ракушка: он вместо того пожаловался на патриарха царскому правительству, и последнее вступилось за своего вассала, заставило патриарха аннулировать отлучение и вместо него выдать Многогрешному благословенную грамоту. Протопоп остался не при чем и мог только по поводу неудачного замысла сорвать сердце в своей летописи, как увидим ниже.

Других сколько-нибудь важных подробностей из этих годов жизни Ракушки на Правобережьи не сохранилось. Вероятно, он прожил здесь включительно до 1675 г., когда польские войска сожгли Брацлав и этим вызвали массовое переселение его жителей, между прочим, и за Днепр. Очевидно, в числе прочих пострадавших от поляков и Ракушка исходатайствовал себе разрешение возвратиться на Левобережье. Обстоятельства этому благоприятствовали: правобережные города, местечки, сотни, отрекаясь от Дорошенка, переходили под власть Самойловича; вероятно, и Ракушка использовал эту обстановку и свое положение пострадавшего от Многогрешного, чтобы найти путь к сердцу его преемника и соперника. Хотя Р. и излил после падения Самойловича всю желчь, накопившуюся у него от высокомерия этого «поповича», но он пользовался расположением последнего во время его гетманства и, вероятно, не без его соизволения, а может быть и протекции получил место священника в Стародубе. В феврале 1676 г. он уже приводил к присяге новому царю своих прихожан, как «протопоп брацлавский, священник святоныкольский стародубовский». Позже он себя брацлавским протопопом уже не называет, а святоныкольским стародубским попом остался до своей смерти, которая постигла его, вероятно, в первой половине 1703 г. Сколько-нибудь значительной политической или общественной роли он в течение этих последних десятилетий своей жизни уже не играл, но довольно успешно и энергично устраивал свои имущественные и семейные дела; очевидно, жил в полном достатке и умножал свое имущество разными благоприобретениями как на своей родине в Нежине и его окрестностях, так и на

новом своем местожительстве, в Стародубе. Самойлович пожаловал ему здесь подгородное село Новоселки, отобрав последнее для этого от стародубского магистрата, а после падения Самойловича Ракушка исходатайствовал подтверждающую грамоту у его преемника Мазепы. В феврале 1701 г. он составил завещание, автобиографические известия которого я процитировал уже выше. Оно довольно ярко характеризует личность «Самовидца». Считая, что он достаточно уже при жизни наделил старших детей, Ракушка хотел закрепить большую часть своего имущества за младшим сыном и, чтобы преградить путь претензиям прочих членов семьи, не останавливался даже перед опорочением их. Он отмечает, что его внучка Мелания «юж не маєт жадного вступу до моей худобы, бо и так много matka оной з мужем своим побравши коней, бидла, гроши потратили, да и священство (отца Мелании) не мало мене коштувало, а matka оной з скрыне, отмикавши, краденним способом побрали». В этой характеристике достаточно ярко отразилась мелочная и злопамятная натура «Самовидца».

Если сравнить эти биографические данные о Роме Ракушке с теми автобиографическими указаниями и чертами, какие сохранила нам «Летопись Самовидца», то мы увидим, что они взаимно покрываются вполне и ярко характеризуют индивидуальность и классовый облик автора этого произведения. Анализ последнего, произведенный в свое время Ор. Ив. Левицким, считавшим «совершенно бесплодной всякую попытку разоблачить этот таинственный аноним», привел его к совершенно правильному выводу, подтвержденному всеми последовавшими исследованиями, что этот таинственный автор писал свое произведение сравнительно 'поздно — не ранее 1672 г., так как при более ранних событиях у него встречаются указания на позднейшие вплоть до этого года. Н. Н. Петровский в своем последнем исследовании старается отодвинуть этот термин *non ante* еще несколько далее — до 1677 г. Хронологические указания, отысканные им в тексте, на мой взгляд не слишком убедительны, но данные биографии Ракушки в сопоставлении с конструкцией его произведения действительно делают весьма правдоподобным, что именно в это время, около 1677 г., он приступил к своему труду: годы 1675—1676 очень мало подходили для этого, а раньше 1672—73 г. отодвигать эту работу не позволяют упомянутые указания на последующие события. Условия жизни автора в 1776—77 г. были действительно таковы, что могли внушить ему желание описать пережитые тревожения и даже превратить его в настойчивый императив. Как мы только что видели, это был момент, когда автор, после бурных годов своего изгнания, причалил в тихую пристань стародубского прихода — самого тихого и уда-

ленного от перипетий руины уголка гетманщины, и у него действительно, могло явиться, после крушения былых честолюбивых планов, непобедимое желание поделиться пережитым с грядущими поколениями и посчитаться перед трибуналом потомства со всеми виновниками своих злоключений.

Присматриваясь затем к содержанию его записок, мы видим, что до своего изгнания, т. е. до 1668 г., автор мало занимается Правобережьем, явно интересуется событиями Северной Украины и белорусского фронта преимущественно перед другими областями. Наоборот, в 1669—1675 гг., когда он жил в Брацлаве и вообще на Правом берегу, его внимание значительно больше привлекают события правобережные и здешняя политическая обстановка. После 1676 г., когда Ракушка водворился в Стародубе, стародубские лица и события совершенно определенно выступают на первый план, и так это продолжается до самого конца «Летописи». Оканчивается она записками 1702 г. Ракушка в это время уже доживал свои последние дни, хворал и умер, как отмечено было выше, в первой половине 1703 г.; последние известия о нем отмечены биографами до февраля 1703 г.

Как видим, общая схема «Летописи» и общая схема биографии Ракушки, таким образом, вполне сходятся. Если теперь мы обратимся к частнейшим автобиографическим указаниям «Самовидца», то увидим также полное соответствие.

В первый раз Ракушка говорит о себе, как о свидетеле и участнике похорон своего полковника Ивана Золотаренка, памятных пожаром, происходившим в это время в церкви, в день рождества 1655 г. Ясно, что Ракушка, как правая рука своего полковника в администрации и несколько месяцев спустя документально засвидетельствованный его заместитель, должен был не только присутствовать, но и принимать ближайшее участие в устройстве похорон, как это можно видеть в «Летописи»: «бо я сам на то смотрел в той скарбнице, як еще огонь не расширился был» (стр. 43). Под следующим 1656 годом летописец рассказывает об осаде Риги московскими войсками, «на которое я своими очима смотрел» (стр. 45). Документально подтверждается, что «Роман Ракушка, полковник нежинский» приезжал летом 1656 г. в царскую квартиру под Ригю с письмами и донесениями Ивана Нечая, преемника Золотаренка в командовании козацкими силами на белорусском фронте, и довольно долго находился под Ригю, добываясь легализации козацкой организации на белорусской территории.¹ Под 1660 годом «Самовидец» повествует в первом лице об участии козацких уполномоченных в польско-русских переговорах, происходивших

¹ Моя «История Украины-Руси», т. IX, стр. 1264, 1265.

в Борисове («на которую и нас козаков затыгано и были смо», стр. 61). В числе козацких делегатов действительно был и «Роман Ракушка, сотник нежинский», что документально известно.¹

Места «Летописи», в которых упоминается Роман Ракушка, также достаточно ясно свидетельствуют, что автор, не желая открывать себя, говорит о событиях, в которых он принимал непосредственное участие. В этом отношении особенно интересен упомянутый эпизод об отлучении гетмана Многогрешного: его одного, собственно говоря, было бы достаточно, чтобы убедить нас в авторстве Ракушки. В «Летописи» рассказывается под 1670 г., что митрополит Тукальский отправил «посланца своего Романа Ракушку протопопу браславского до святейшого патриархи в Царгород о потвержения сакри на метрополию Кіевскую». Затем: «тот же посланный протопопа браславский вывезл соборную клятву от святейшого патриархи на заднепрянского гетмана Демяна Многогрешного, который в пиху вознесшися, легце себе тое поважал, еще ся сротачи, але зараз того господь бог скарал, те спадши з ганку, шию был зломал, те час немалий не могл говорити, що, пришовши до здоровья, не хотел ся упамятати, що напотом оному нагородилось зле» (стр. 108—109). Наконец, рассказав о падении Многогрешного, автор заканчивает такими словами: «И так скончилось гетманство Многогрешного, которій себе клятву соборную святешого патриархи не во что поважаючи, совсем в невець пойшол» (стр. 113—114). Судя по тому, что известно об этом отлучении Многогрешного, оно было личным делом Ракушки, и никто в нем, кроме него, не был заинтересован; наоборот, Ракушка, очевидно, возлагал большие надежды на этот маневр и, несомненно, был очень огорчен и раздражен, когда эта афера не удалась, и Многогрешный, ничем не поступившись, добился того, что отлучение было аннулировано самим патриархом. Не добившись никаких материальных выгод, не успев огорчить своего обидчика при жизни этим отлучением, Ракушка постарался отомстить ему, по крайней мере, литературным путем за то, что тот «легце себе поважил» с таким трудом добытое отлучение. Но при этом, не желая открывать тех мотивов, которыми было вызвано это отлучение и самый рассказ о нем в «Летописи», Ракушка тщательно закрыл свое авторство и замел по возможности всякие следы идентичности летописца с протопопом Романом Ракушею и мотивы поездки последнего в Константинополь с проториями и убытками, понесенными автором от Многогрешного.²

¹ Польские дела б. Архива иностр. дел 1660 г. См. у Петровского «Нариси», стр. 148

² М. Андрусак в цитированной статье смущается тем, что мотивы поездки Ракушки,

Другое упоминание «Летописи» о Ракушке не так ярко, но тем не менее тоже подтверждает его идентичность с «Самовидцем». Последний очень подробно рассказывает о том, что Выговский имел совещание с мурзою Карамбеем относительно предстоявших операций против московской партии. Рассказ просто выделяется из ряда других чрезвычайной обстоятельностью: «Карамбей з Выговским на особном месцу на конях седячи мали розмову из собою на годин две зекгаровых и тож з собою потаемене от усех полковников постановили, противно кого тую войну мали поднести; а напотом гетман Выговский до намету Карамбея з мурзами упросив своего, и там зо всеми полковниками и інною старшиною учинили згоду з ордою, где сам гетман Выговский, обозній, судде, полковники со всею старшиною и козаками при них другими присягу выконали на братерство, и там з собою банкет учинивши, з гармат били». Откуда такая чрезвычайная обстоятельность и такой интерес к этому эпизоду у автора, вообще неблагоприятно настроенного к союзу козачества с ордой. Разгадку дает дальнейший рассказ, что при отъезде Карамбея гетман послал с ним «Романа Ракушу и Левка Буту, сотников нежинских, при которых Карамбей и мурзы со всею ордою присягу выконали на братерство». Итак, Ракушка был одним из ближайших участников этого дипломатического акта.

Можно отметить еще несколько мест, где подробности рассказа «Самовидца» чрезвычайно близко сходятся с обстоятельствами жизни Ракушки.

Под 1666 г. очень подробно рассказывается о переписи населения Украины, произведенной московскими «списчиками», о новых налогах, введенных московским правительством; указывается размер налогов, порядок обложения и т. п. Мы поймем эту обстоятельность, припомнив, что Ракушка был в это время генеральным подскарбием, т. е. лицом, наиболее близко стоявшим к вопросам обложения.

Под 1677 г. подробно описывается страшный пожар, опустошивший Стародуб. Автор очень подробно останавливается на том, с какой церкви начался пожар, и передает ходившие по городу толки: жители считали виновниками несчастья — духовенство; пожар начался с Никольской церкви, в которой в предшествовавшем году происходила церемония церковного

указанные в «Летописи», не сходятся с документальными данными. Но, во-первых, ввиду того, что точная дата отправки Ракушки в Константинополь нам неизвестна, мы, собственно говоря, не можем констатировать такого расхождения. Во-вторых, нам нужно считаться с возможностью или вероятностью, что Ракушка умышленно маскировал возможно благовидно свою поездку.

отлучения, наложенного архиепископом на местного полковника за то, что он побил священника Никольской церкви. Автор, наоборот, доказывает, что пожар навлекло население своей безнравственной жизнью, неуважением к духовенству, невниманием к его обличениям и т. п. Первый, приподнятый тон этих разъяснений будет нам понятен, если мы вспомним, что Ракушка был священником как раз в этой Никольской церкви и должен был чувствовать себя задетым толками, что Стародуб сгорел из-за церемонии, в которой, вероятно, он и сам принимал участие.

Все эти совпадения делают несомненным вывод, что «Летопись» вышла из-под пера Романа Ракушки. Выяснение этого авторства представляет не малый методологический интерес ввиду того, что автор сознательно старался закрыть себя. С другой стороны, познакомившись с личностью автора так обстоятельно, как это позволяет нам биографический материал о Романа Ракушке, — зная его социальное положение, обстоятельства жизни, черты характера, мы сможем настоящим образом оценить его отношение к событиям, симпатии и антипатии «Самовидца», — вообще его историческую идеологию.

«Летопись Самовидца» открывается замечательным трактатом о причинах украинской революции.¹ Автор желает объяснить читателям «початок и причину войны Хмельницкого». Эта причина — «едино от ляхов на православие гонение и козаков отягощение». Автор, очевидно, повторяет ходячую общепринятую формулу, освещавшую козацкие войны интересами религии. Но, подчеркнув примат религиозных мотивов в комплексе причин, он развивает то, что в его сознании было более конкретным и реальным, — причины недовольства козацкого класса. Слабая литературная подготовка, недостаток школьного образования не дают ему возможности развить поставленную тему логически и систематически, по правилам тогдашней риторики. Начав с «гонения на православие» и занявшись фактически «отягощением козаков», он с «отнимания фольварков» у козаков, как одного из видов «козаков отягощения», перешел на традиционную историю «отнятия пасеки у человека одного, которая всей земле Польской починала беды», начал рассказывать историю бегства Хмельницкого на Запорожье и его первых выступлений и только в разгаре этой истории вспомнил, что он собственно не довел до конца своего изложения причин восстания, и счел нужным сказать несколько слов, по крайней мере, о религиозном гонении. Вероятно, соображение, что в описании восстания ему придется говорить

¹ Это классический текст в историографии последней.

об истреблении католических церквей и монастырей, избиении католического духовенства и т. п., заставило его сделать отступление после рассказа об истреблении польской армии под Корсунем, в форме пояснения, почему восстание не кончилось на этом разгроме военных сил Польши, а перешло в истребление всех форм польского господства на украинской территории (стр. 10, 11). Но сделанный таким образом экскурс в сферу церковных отношений только еще определеннее показал, как мало реальна была эта религиозная причина восстания в представлениях левобережного козачества и вообще местного населения. Если в начале своего трактата, поставив во главу угла эту религиозную причину, «Самовидец» фактически свел разговор на причины социально-экономические, то тут, поставив специальной темой религиозное гонение, он в действительности мог лишь констатировать, что на Левобережье в 1640 годах говорили об угнетении православия унией «у Литве (и) на Волине», но у себя дома могли указать лишь очень слабые попытки насадить унию и католичество. «Самовидец» явно преувеличивает эти первые симптомы, говоря о ряде униатских¹ архимандритов в Чернигове, между тем как в действительности единственный документально известный «униатский» архимандрит Елецкого монастыря Кирилл Ставровецкий был совершенно титулярным униатом и ничего для утверждения унии не сделал.² Точно также преувеличено утверждение «Самовидца», что перед восстанием Хмельницкого «уже на Украине, что городок, то костел был». В конце концов он сводит разговор на притеснения, какие терпела киевская коллегия от воеводы Тышкевича, на наезды и процессы из-за имений киевской митрополии, на презрительное отношение к православным со стороны католиков и т. п. В результате все это показывает, что, выдвигая религиозное гонение, как первопричину восстания, Ракушка руководится традиционным декорумом; в действительности же те козацкие старшинные круги, представителем которых он является, не придавали этому мотиву большого значения среди реальных причин, вызвавших революцию 1648 г., специально на Левобережье, которым тут ближе занимается «Самовидец».

Что же более реальное выдвигается в его сознании? Прежде всего исключение из козацкого реестра огромного количества реально пользовавшихся козацкими правами. Больше 6000 не могло быть козаков: «хоч и

¹ В трактате «Самовидца» слово «униатские» выпало.

² Это вполне доказательно пояснил недавно скончавшийся черниговский историк А. В. Верзилов в статье «Униатские архимандриты в Чернигове» (Труды Черниговской архивной комиссии, кн. 5).

сын козацкий, тую же панщину мусел робити и плату давати». Фраза эта попала не на место (стр. 5), но, очевидно, из этой предпосылки исходит то, что рассказывается в первых строках этой главы о положении козаков, не попавших в реестр и поставленных перед дилеммой: нести панщину или принимать у старостинских урядников какую-нибудь службу, лишь бы не попасть в крепостную массу «подданных». Самовидец имеет в виду людей, фактически втянувшихся в козацкое ремесло, для которых перспектива обращения в это крепостное состояние была невыносимой. Они принуждены были нести черную работу, крайне унижительную для их «рыцарского звания», лишь бы не обратиться в простых «подданных»: служить на пеарне, ездить с письмами и поручениями, исполнять всякую дворовую работу, а эти «незначные дела» крайне их удручали. Это несомненно очень живо чувствовалось в том кругу, где вращался сам Ракушка, может быть, захватило кого-нибудь из семьи, возможно — даже его самого; не удивительно, что этот момент фактически выдвинулся во главу угла, как «початок и причина войны Хмельницкого».

На втором месте в анализе этих причин фактически оказалось «отягощение» той сравнительно привилегированной части козачества, которой удалось остаться в рамках реестра. Здесь отмечено: лишение выборного управления, так как полковники в это время назначались коронным гетманом, а сотники — полковниками; притеснение реестрового козачества этими полковниками и сотниками по назначению: они употребляли козаков на «домовую незвычайную роботу», отбирали взятую у неприятеля добычу и т. д. Козаки лишены были права варить какие-либо напитки; отхожие степные промыслы их были обложены отяготительными поборами, и все это довело козаков до крайнего убожества.

Затем автор отмечает причины неудовольствия «поспольштва», т. е. крестьянского населения.¹ На его взгляд, экономическое положение последнего было очень хорошо: «жили обфито в збожах, в бидлах, в пасеках», но их возмущали «вимисли великіе» арендаторов — «чинши великіе, поволощины, дуди, осип, мерочки сухіе, з жорнов плата и инное». Очень характерно, что о каких-либо притеснениях или неудовольствиях мещанского населения Украины автор не упоминает.

В общем положение Украины перед восстанием не представлялось ему бедственным. Те аномалии, которые он отмечает, не имеют в себе

¹ «Поспольштво» у автора обозначает и крестьян, и родовое козачество в противопоставлении «значным»; в данном случае видно из контекста, что речь идет о «подданных», крестьянах королевских и частновладельческих

ничего ужасного; позднейшие ужасы польского режима, появляющиеся в писаниях козацких историков XVIII в. — всякие издевательства и пытки, изысканные формы смертных казней ему совершенно чужды. Упомянув о смерти короля Владислава, приключившейся в разгар восстания, он называет его царствование «счастливым» («бог за грехи навидел землю такую тяжкою войною и отнял оной господара, то есть короля щасливого Владислава»). Это звучит почти как отголосок польских воздыханий о «золотом веке» правления Владислава. «Самовидец» не счел нужным пояснять, как явились все вышеупомянутые гонения и отягощения под этим счастливым правлением. Ничего не говорится об отмене старых козацких порядков «ординацией 1638 г.». Мотив «прав и вольностей», на разные лады повторявшийся в козацких переговорах с польским и московским правительством при Хмельницком и его преемниках и потом любовно разрабатывавшийся козацкими публицистами XVIII в., у «Самовидца» не играет почти никакой роли. Но наряду с этим равнодушием к традиционной дипломатической фразеологии тем ярче выступает преклонение перед фактом обладания, перед священным правом собственности *in usu*. Вся его история восстания — это непрерывный вопль о разорении, уничтожении имущества, истреблении ценностей, притеснении богатых и зажиточных классов всякого рода гольтибобой, вторжении ее в ряды высших классов. Победы Хмельницкого, триумфы козачества над польской шляхтой не вызывают в «Самовидце» никакого восторга. Никакого пиетета к самому «козаковому батьку», никаких комплиментов его мудрости и военным талантам, восторженно воспетым козацкими публицистами XVIII в. Великим гетманом двигают исключительно личные мотивы. Никаких фраз об общем благе, патриотизме и т. п. Получив вместе с своим товарищем по деутации Илляшем «королевский привилей», Хмельницкий утаивает его по соглашению с Илляшем и поднимает восстание «своего побытку albo кгрунтов жалуючи». Секрет его успехов лежит в союзе с ордою, а в глазах автора это дело противное христианству («звлаща с таким поганином и ворогом веры христианской збратавшися»). А результат первого года войны тот, что победоносный гетман, вернувшись домой, «там жону себе понял куму Чаплинскую, маючи мужа живого, а орды в Крим пошли з добычу». Ни слова о торжественных встречах, киевских поэмах, восторге населения, описанном польскими очевидцами и воспетом полстолетия позже в «Милости божей Украинну от обид лядских свободившей».

Зато «народ посполитій на Украине, послышавши о знесенню войск коронних и гетманов, зараз почали ся купити в полки не толко тіе которіе

козаками бывали, але кто и негди козацтва не знал.» «От боку зась Хмельницкого... козацтво по розных городах розишовшиися полковников, сотников себе понастановлявши и гдеколвек знайшлася шляхта, слуги замкові, жиди и уряди мескіе, — усе забияли, не щадячи ане жон и детей их. Маєтности рабовали, костели палили, обвалювали; ксіонзов забияли, двори зась а замки шляхетскіе и двори жидовские пустошили, не зоставляючи жадного целого. Редкий в той криве на той час рук своих не умочил и того грабленія тих добр не чинил. И натотчас туга великая людем всякого стану значним била и поругания от посполитих людей, а найбільше от гуляйства, то есть от браварников, вынников, могильников, будников, наймитов, пастухов. Те любо бы якіи человек значній и не хотел привязоватися до того козацкого войска, тилко мусел задля позбитя того посметьвиска и нестерпимых бед в побоях, напоях и кормах незвычайних, и тіи мусели у войско приставати до того козацтва. Где по городах, по замках шляхту доставано — гдеколвек позачинялися были, то есть в Нежине, Чернегове, Стародубе, Гомлю, все тое подостававши вистинали, бо першей устрашившиися шляхта жидов повидавали з маєтностями, а потом и самих подоставали и вистинали. И многіе на той час з жидов боячися смерти христіянскую веру приняли, але зась знову, час углядевши до Полци поутекавши жидами позоставали, аж редко котрій додержал вери христіянской. И так на Украине жадного жиди не зостало, а жони шляхецкіе зостали жонами козацкими. Также и по томтой стороне Днепра, аж по самій Днестр тое ж ся стало: опустошения замком, костелом и дворами шляхецким, жидовским, урядом меским и шляхте, ксіонзом: усяда тое витрачено, а найбільше жидов пропало в Немерове и в Тулчине, незличаная личба» (стр. 13).

После разгрома польской армии под Пилявцами — «Хмельницкий з своими войсками и татарами или с ордами великими просто ку Лвову потягли, пустошили усе города, и под Лвов подступивши, попустошили, тилко самий город Лвов окуп за себе дал орде и Хмельницкому. И так оттуля Хмельницкий зо всеми потугами потянул под Замостя, а там стоячи орда с козаками по самую Вислу пустошили, также Волинь — города значніи повиймали: Острог Великий, Заславя, Луцко, Володимер, Кобрин, аж и Берестя Литовское. И хто может зроковати так нежданованную шкоду в людях, що орды позабирали, а маєтности козаки побрали. Бо в тот час не було милосердія мсти народом людским. Не тилко жидов губили и шляхту, але и посполитим людем в тих краях живучим тая же беда была. Многіе в неволю татарскую пойшли, а найбардзей ремесники молодіе, которіе

голови голили попольску, чуприну пускаючи наверх голови. Але предся Русь-християне в тих поветах в городах позоставали и ежели якого поляка межи собою закрили, то тот жив. Костеле зась римські пустошили, склепы с трупами откопавали, мертвих тела з гробов викидали и обдирали и в том оденю ходили» (стр. 15).

Переяславские переговоры 1649 г. «Самовидец» представляет в таком виде, что Хмельницкий, получив королевский привилей «на вольности» и знаки гетманского достоинства, обещал исполнить королевские пожелания и прекратить войну, но посольства «монархов разных» привели его «до большого зятрення и пихи»: он не захотел соблюдать «справедливость мира» с польским королем, как следовало бы по отношению к своему законному монарху («слушной згоды з монархою полским як с паном своим не чинил»), нарушил («отменил») заключенный мир и договор — «приязнь и постанову з королем польским» и призвал хана «з великими потугами татарскими», что является предвестием новых жесточайших опустошений. Одновременно поднимается все украинское население не из каких-нибудь идеальных побуждений — религиозных или национальных, не «за вольности» и «за веру», а из корыстолюбия, из жажды добычи. «Так усе що живо поднялося в козацтво, те зайдво знайшол в яком селе такого человека, щобы не мел албо сам, албо син до войска ити, а ежели сам не здужал, то слугу паробка посилав; а иніе килко их было, все ишли з двора, толко одного зоставали — же трудно было о наймита. А то усе деялося задля того же прошлого року збогатилися шарпаниною добр шляхецких и жидовских и иных людей бываючи на преложенстве. Же повет где в городах были и права майдебурские, — и присягліе бурмистрове и райцы свои уряды покидали и бороды голили, до того войска ишли; бо тіе себе зневаду держали, которій бы з бородою не голеною у войску был. Так диявол учинил себе смех з людей статечных» (стр. 20).

Измена хана, подкупленного королем, пройдена молчанием. Король в руках Хмельницкого; последний свободно диктует условия мира. О религиозных и национальных уступках, выговоренных Хмельницким, «Самовидец» не упоминает, хотя это логически необходимо было ввиду вышеуказанных причин восстания; указано только отграничение козацкой территории и постановление, что татарам в качестве добычи предоставлено право взять в плен 12 городов. В стилизации «Самовидца» это позорное, чрезвычайно одиозное постановление всею силою ложится на Хмельницкого, который и приводит его в исполнение: «Хмельвицкій з ханом Крымским расправивши орду — то есть мурзи, придавши и козаков; и так многіе

города козаки позвали и людей татар в неволю побрали, и места значные спустели». Опять вина опустошения всю тяжестью падает на козацкое восстание и его вождя Хмельницкого.

Под следующим 1650 годом — поход на Молдавию. В официальном освещении гетманского правительства, зафиксированном известной козацкой думою, он представляется в аспекте блестящего триумфа козацкого оружия, его триумфальным походом. «Самовидец» описывает его, как деяние в высшей степени предосудительное — опустошение братского единоверного края в интересах врагов христианства татар и турков, — позорное последствие противоестественного союза православного козачества с магометанами. Стиль этого эпизода очень путанный; поэтому я предпочитаю привести его в переводе, возможно близком к подлиннику: «Войско (козацкое) не хотело бездействовать, тем более побратавшись с таким поганином и врагом веры христианской (ханом). Молдавская земля, христианская, хотя и в подданстве у турок, жила, однако, спокойно при одном и том же господаре (без смен и замешательств), начала жить в изобилии. Крымский хан позавидовал, что христианство, а в особенности Русь (в смысле православия) взяла верх, и с согласия турка, как я понимаю, с гетманом Хмельницким, со всеми силами козацкими и татарскими неожиданно напал на Молдавскую землю. Разорили ее всю в конец, опустошили до самых гор. Забрали людей в плен и их имущество; только крепкие замки устояли. Сам господарь ушел было из своей столицы, но потом вернулся. Хмельницкий с ханом стояли у Прута, а край опустошили отрядами» (стр. 23).

Этот противоестественный союз с бусурманами, на котором строил свои войны Хмельницкий, принес свои плоды в берестецкой кампании следующего года, — показывает «Самовидец». Повод дали поляки; козаки бились хорошо («дали бой слушний войску королевскому»), но все погубила измена татар, — «аже нестатечная приязнь вовку з бараном, так христианинове с бесурменом». Войско потеряло всю артиллерию и множество козаков. Под Белою Церковью «гетман, Хмельницкий собою не звонтиль: дал добрый бой обом тим войскам, коронному и литовскому», но это уже не могло поправить дела. Хмельницкому пришлось пойти на тяжелые уступки. Характерно, что при этом в очень мягких тонах представлены наступление литовского войска на Киев и жестокий разгром последнего. Автор подчеркивает мужество киевского митрополита, печерского архимандрита и братии, не покинувших своих церквей и монастырей, между тем как козаки оставили Киев без защиты, и киевские мещане поэтому вынуждены

были уйти из города. «Самовидец» отмечает также оплошность своих однополчан — нежинцев и черниговцев и их вождя полковника Небабы, «которые составляли безпечне, болшей бавячись пьянством, а нежели осторожністю розумеючи, же юже незвитяжними zostали», а «старший козацкий Небаба, полковник чернеговский, порвавшись несправне, скочил противко тому войску справному, которого зараз тое войско литовское зломило, и много козаков порубали, и того самого Небабу, неуважного полковника, там же стято». Так помянул «Самовидец» одного из наиболее героических представителей северского козачества, в рядах которого стоял тогда сам.

В таких тонах продолжается повествование о войнах Хмельницкого до конца, до его смерти, отмеченной очень кратко и сухо, без всяких выражений сожаления от своего лица или от имени войска. Нигде ни тени энтузиазма, восторга освобождения, так ярко отразившегося, напр., в рассказах Павла Алепского или в реплике пограничного сотника пограничному царскому воеводе на его упрек за то, что он, «простой человек», осмелился обратиться непосредственно к такой высокой особе, как воевода: «А що ваша милость писал до нас недавними часы у своей грамоте, же нам не годится, простым людям, до воевод грамот писать, мы за ласкою божюю тепер не естесмо просты, але естесмо рыцери войска запорозкого; а тепер у нас за ласкою божюю, поки его воля святая, тут у всем краю северском ни воеводы, ни старосты, ани судьи, ани писаря нет. Боже дай здоров был пан Богдан Хмельницкий, гетман усею войска запорозкого. А пан полковник у нас тепер за воеводу, а пан сотник за старосту, а атаман городовый за судью».¹

Ничего подобного не отразилось на повествовании «Самовидца»; никаких достижений восстания, если не в сфере экономической и социальной, то хотя бы национальной и религиозной. А ведь пишет это священник Левобережья, поставивший первой причиной этих войн «на православие гонение», а Левобережье в результате этих войн стало недоступным для таких гонений.

Может быть, если бы эта повесть писалась действительно по горячим следам событий, и именно автором, стоявшим тогда непосредственно в рядах торжествующего козацкого войска, в его повествовании сохранились бы какие-нибудь отзвуки этого триумфа, сознание каких-нибудь достижений, — что-нибудь больше, чем воспоминания о разоренных городах,

¹ История Украины-Руси, т. IX, стр. 272.

запустевших селах, сожженных усадьбах, угнанном в Крым ясыре, поголовно ушедшем в козачество населении, «так что найти наймита було трудно». Но это писал не генеральный подскарбий, не наказной полковник нежинский, а беглый брацлавский протопоп, насмотревшийся на страшные картины опустевшего Правобережья, безысходной резни представителей московской, польской и турецкой ориентаций, — писал на руинах своей собственной карьеры и своего богатства и на родине козацкой Украины, пред лицом надвигающейся старости, без какого-либо просвета в перспективах, среди обидных и докучливых раздоров своего стародубского прихода, так живо зафиксированных им под 1677 годом («полковник против гетмана, священники межи собою, осм на двоих немал далій рок турбовались; межи козаками и посполитими свари, позви, а знову зась корчми, шинки и немал в каждом дворе, а при шинках без едности и частіе забойства»).

«За що боролись ми з панамив», — мог себя спросить словами Шевченка *ex*-подскарбий. Что дали нам, «людям всякого стану значним» — из мещан, духовенства, козаков эти тридцать лет кровавых войн, это истребление материальных благ, поборы долголетних сбережений, вся эта «туга великая и наругання от гуляйства», которые нам пришлось перенести? Легче ли нам жiwется сейчас с московскими воеводами и гарнизонами, чем жилось с старостами и жолнерами польскими? Что получили мы взамен новой границы, отрезавшей нас от западной Украины и Белоруси, среднеевропейских и балтийских рынков, между тем как московский кордон по-прежнему замыкает пути на север и восток?

В звании генерального подскарбия в годы гетманства Бруховецкого «Самовидцу» пришлось очень близко присмотреться к новым украинско-московским отношениям, ко всем теневым сторонам московского протектората; как потом на Правобережьи, он имел возможность измерить всю глубину зол, принесенных крымско-турецким протекторатом; фактически созданным Хмельницким. «Самовидец» писал очень осторожно. Он позволял себе критиковать только деятелей, вышедших в тираж, за которых не было кому заступиться: так он вылил свои чувства, свое осуждение деятельности Выговского, Многогрешного, Дорошенка, Самойловича только после их падения. Его суждения о деятельности Хмельницкого все-таки вынужденно сдержаны: известный пиетет все-таки стоял на страже памяти великого гетмана. Так же вынужденно сдержаны его повествования об украинско-московских отношениях: этикетальная фразеология дала повод прежним исследователям считать «Самовидца» искренним сторонником царского протектората над Украиной, но тщательный анализ его отзывов и упоминаний

о московских действиях и событиях, произведенный Н. Н. Петровским в его последней работе, очень основательно поколебал этот прежний взгляд:¹ отношение «Самовидца» к московской власти не было ни искренним, ни благожелательным. При всей своей осторожности он отмечает, что «посланцы гетмана Брюховецкого частіе на Москве бывали в кривдах от воевод, зостающих по городах, от которых люде поносили, нащо жадного респонсу не одержавал». Хотя после этого он и назвал восстание Брюховецкого против Москвы и истребление московских гарнизонов «непотребным делом», но эта слишком мягкая форма осуждения только яснее подчеркивает его сдержанность: его изложение имеет скорее целью оправдать это восстание, от которого Ракушка и сам ничем определенно не отмежевался.

Но если осторожность связывала язык «Самовидца» и не позволяла ему дать полную оценку московского протектората над Украиной, то ничто не мешало ему со всею откровенностью высказаться о былом господстве над Украиною Польши в ее современных претензиях. В своем Стародубе он мог вопить на польское правительство, как на мертвого; его положение православного священника в значительной мере даже обязывало подчеркивать все, что пришлось Украине претерпеть под польским господством, и что продолжала терпеть от него западная Украина и Белорусь. Однако, как можно было видеть уже из вышеприведенного изложения его трактата о причинах восстания Хмельницкого, каких-либо резких упреков по польскому адресу, в особенности по адресу польского правительства мы у «Самовидца» вовсе не находим. К польской королевской власти он относился, как лояльный монархист, и очень сдержанное отношение к господству польской шляхты, к старому польскому режиму, к администрации и панскому праву резко отличается от инвектив XVIII в. По мнению «Самовидца», украинские подданные принципиально не отрицали прав польских панов: их раздражали «вымыслы» арендаторов и всякого рода официалистов, а «самому пану волно бы узяти у своего подданного, и не так бы жаловал подданный его».

¹ Полную ценность имеют его указания на то, что «Самовидец» почти нигде на протяжении своего труда не дает сочувственных отзывов о московских распоряжениях, хотя при желании мог их делать очень часто. Наоборот, он довольно прозрачно подчеркивает необоснованность и несправедливость их. Не лишены значения и отмеченные «Самовидцем» черты московской жестокости, вообще производившей тяжелое впечатление на тогдашних украинцев: напр., он счел нужным упомянуть, что Гр. Самойловичу «по многих спитках голову оттяли, рубаячи разов три задля большой муки», что казни участников московского стрелецкого заговора производились во время великого поста, что Петр «килком (стрельцам) сам головы постинал». Характерно, что это последнее упоминание Бантыш-Каменский уже при первом своем беглом знакомстве с «Летописью» отметил, как «выражение смелое», т. е. дерзкое.

Взгляды «Самовидца» на внутренние отношения гетманщины особенно ярко отразились на его повествованиях о событиях 1663 г.: о борьбе запорожской партии, во главе которой стоял Бруховецкий, с партией «значных», предводимой Сомком и В. Золотаренком, тогдашними патронами Ракушки. Он отмечает, что после выбора Бруховецкого, при смене власти «много козаков значных чернь позабивала, которое забойство три дни тривало; хочай якого значного козака забили али человека, то тое в жарт повернено. А старшина козаки значніе, яко з'могучи, крилися, где кто могл жупани кармозиновіе на сермяги миняли» (стр. 77). С новыми полковниками, ставленниками запорожской партии «по усах столечних городах» являлись их козаки, «которыми по усах полках жупани давано, а з млинов сами розміри брали, и куда хотели, оборочали, людем зась незносную кривду чинили, а звлаща значним, бо били межи ними которій служил у якого человека значного, то юже свое зомщовали на господарях, ежели которого якого часу за якій проступок побил, албо злял, як всяко в дворе бывает» (стр. 78). «Барзо притуга великая на людей значних была» (стр. 79).

Эти порывы революционной энергии черни беспокоили и пугали Ракушку. Он с видимым удовлетворением отмечает, что волнения, прорвавшиеся после падения Самойловича, были подавлены быстро и сурово: «которих напотом имано, вешано, стинано и мордовано, яко злочинцов» (стр. 169). Но новый строй едва ли казался ему достаточно прочным, а Запорожье, как очаг своеволия, после всего им виденного, продолжало внушать ему страх, вероятно, до конца его дней, и в сумме новые отношения, созданные революцией, вероятно, не представляли для него ничего привлекательного по сравнению с Украиной дореволюционной.

В таких холодных, несочувственных, пессимистических тонах написанная история борьбы за освобождение Украины от людского ига, как это видим у «Самовидца», не могла находить сочувственного отклика у «значных людей» эпохи стабилизации: им нужна была апология, апофеоз этой борьбы; нужно было не только оправдать, но всячески возвеличивать этот процесс, поставивший их на командные высоты, создавший новый украинский феодальный строй. Эта литературная работа и производится в первых десятилетиях XVIII в., с разнообразным талантом и успехом. Интересно сравнить выше цитированные оценки восстания 1648 г. у «Самовидца» с характеристиками, вложенными в уста Хмельницкого и старшины Грабянкой в описании их последнего совещания: «Весте доволне, коликими утисками, гоненіями, разореніями щоденними мучителстви бедствовавшее оплаканное наше отечество, а что всего более — мати наша церковь восточ-

ная. Дондеже посети бог свыше и подаде руку помощи, еще ей ко первому своему благочинію возвратитися. Весте паки, колико много трудов, неудобствій, и бед конечных в свободженіи тако церкви православніе, яко и самого отечества нашего от ига работи лядской подъяхом. Вся сія вашим совоннственным мужеством, моим же — богу поспешествующу — предводителством устроися. Бог вестъ, чіе се нещастіе, что дал мне господь войны сея яко подобаше окончити и волность вашу во вся веки утвердити». Старшина отвечает: «За твои столь знаменитіи войску запорожскому прислуги и кровавіи труди, что еси нас своим розумом и мужеством свободил от ярма лядского и прославивши пред светом народом свободним устроил, подобает нам и по смерти твой на дом твой памятовати».¹ Автор «Милости божей Украину от обид лядских свободившей» влагает в уста «Украины» такую картину достижений восстания:

Скорбь моя отложися; радость водворися.
 Супостаты падоша, рог мой возвысися.
 Дивна се измена есть выпняго десницы.
 Лях побежден и прогнан за своя границы:
 Страх, беда, клопот и студ побеже за ляхами...
 О, ниже риторскими ўсты исказанной,
 Ниже историческим пером описанной
 Фортуны моей. Се бо бог мне пособствуй,
 Излія на мя своей благодати струя,
 Совлек с мене острое рубище печали.
 В ризу мя веселія одя. Престали
 Бурни свирепети на мя аквиліоне,
 Тишайшіе явились ко мне алціоне;
 Преч лютая от мене зима отступила,
 Тма во свет, а ноць во день златый пременѣна,
 Горесть сердца моего в сладость обращена.

Величко прославляет Хмельницкого устами мифического Сатурна. Зорки, как «доброго вождя, за головою которого не только мы — подручные его, но и вся речепосполитая Малой Руси могла обещать себе долгие годы безопасности, и старинные права и вольности Украины и войска запорожского, которые он воскресил делом своим, могли бы жить вечно».²

Это было то, что требовалось новым поколениям козацкой старшины, и вполне понятно, почему в меру распространения «Истории» Грабянки,

¹ Летопись Грабянки, изд. 1854 г., стр. 150—152 (цитирую сокращенно, не придерживаясь мало авторитетного правописания этого издания).

² Сказание о войне козацкой, изд. 1926 г., стр. 158—159.

воспользовавшегося кое-чем из фактического материала Ракушки, но совершенно отбросившего его пессимистические, упадочные рефлексy, — труд Ракушки все более терял интерес и приходил в забвение. Вместе с «Братскою летописью Малороссии», извлеченною из нее же и изданною уже в 1777 г. В. Рубаном, история Грабянки, напечатанная в 1793 г. Ф. Туманским под именем «Летописца Малыя России», стала главным источником и руководством для всякого рода ссылок на прошлое Украины для людей второй половины XVIII и первой четверти XIX в. Затем явилась знаменитая «История Руссов». Они служили историческим обоснованием для всякого рода социальных классовых построений и требований благородного малороссийского дворянства. А к «Самовидцу» интерес упал настолько, что в украинских интеллигентских кругах начала XIX в. его совсем забыли и нисколько не считались с его настроениями. Позже, когда интерес к нему возродился, списков его «Летописи» отыскалось очень немного, и то больше старых, первой половины XVIII в., когда еще история Грабянки и ее сокращения не владели вниманием общества.¹ Во второй половине этого столетия и в начале XIX в. им не интересовались и почти не переписывали. Это особенно бросается в глаза при сравнении с многочисленностью копий Грабянки и «Истории Руссов». Но к половине XIX в. на литературной арене появляются новые люди, которых более не удовлетворяют традиционные славословия «отцу вольности Богдану», раздражают заезженные ссылки на малороссийских «Брутов и Коклесов»² — борцов за освобождение и права

¹ За все время было приведено в известность, собственно говоря, четыре рукописи «Летописи Самовидца»: список, писанный Искрицким приблизительно в 1730—40 гг.; список Козельского 1740 г. (сокращенной редакции); список, принадлежавший Н. Писареву, по определению Кулиша — половины XVIII в.; список Третьякова в Харькове, неизвестного времени, неполный. Кроме того, существовала позднейшая копия митр. Евгения Болховитинова — великорусская переделка, пожертвованная Нечаевым Московскому обществу истории и древностей, и монотипированная из списка Нечаева и копии митр. Евгения — копия Кулиша — Юзефовича. За последние 50 лет не было обнаружено ни одного списка.

² Шевченко пародировал это патристическое самохвальство в своем «Посланіі до мертвих і живих» (1845) как раз в то время, когда Кулиш, ссылаясь на «Самовидца», развешивал историческую традицию гетманщины:

А історія? Поема
Вільного народу.
Що ті римляни убогі!
Чорт-зна-що не Брути!
У нас Брути і Коклеси,
Славні, незабуті.
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови степи слая,
Степом укривалась.

украинского народа. Скептицизм Ракушки находит своих ценителей: он попадает в большую и незаслуженную честь в качестве трезвого, объективного и правдивого историка своего времени и надолго сохраняет эту репутацию, как я отметил выше. Его культ «значных людей», отвращение к революционной черни и ее эксцессам приобретают вес и значение, воспринимаются с большим и меньшим сочувствием у созвучно настроенных представителей новой литературы. В особенности проникается историческими воззрениями «Самовидца» Кулиш, в аспекте их воспроизводя события той эпохи и стараясь приложить его идеологию к современным условиям. Несколько лет тому назад, выясняя элементы социальной традиции в творчестве Кулиша,¹ я должен был коснуться соприкосновений его с идеологией «Самовидца». Теперь, когда эта последняя уяснилась значительно лучше, уместно будет остановиться на этих влияниях «Самовидца» на Кулиша, как наиболее яркого и авторитетного его истолкователя в новой украинской литературе, постепенно развившего эту идеологию до крайних выводов, вызывавших резкую реакцию, какой, очевидно, не испытывал сам «Самовидец», более осторожный и сдержанный в своих суждениях, большей частью маскирующий свои симпатии и антипатии и явно избегающий острого конфликта с господствующими настроениями.

Выше было отмечено, как Кулиш гордился тем, что ему суждено было «открыть» этот драгоценный исторический памятник. К сожалению, он не написал своего исследования о нем и не оставил сколько-нибудь полной и исчерпывающей характеристики «Самовидца», но свое высокое мнение об этом памятнике подчеркнул очень определенно. Желание придать своему

В этой полемике можно видеть отражения тогдашних исторических настроений Кулиша, базировавшихся на «Самовидце». В особенности созвучны с настроениями последнего знаменитые стихи того же «Послання»:

Я ридаю, як згадую
Діла незабутні
Предків наших: тяжкі діла!
Як би їх забути,
Я оддав би веселого віку половину.
От така то слава наша,
Слава Україні.

— с этим сравнить стихи Кулиша из «Великих Проводів», приведенные ниже. Конечно, Шевченко, вполне чуждый «панских» уклонов Кулиша, не подозревал классовой подоплеки «рыданий» Самовидца.

¹ «В тридцяті роковини Кулішевої творчости» и «Соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчости». Україна, 1927, кн. 5.

открытию возможно большее значение могло повлиять на то, что в глазах самого Кулиша, в его собственном восприятии идеология «Самовидца» приобрела больше авторитетности и убедительности, чем он придавал ей, принимая это произведение из чужих рук. Но собственные социальные предпосылки, роднившие его с идеологией Ракушки, у него несомненно были налицо, заложенные восприятиями детства и юности. Напомним, что семья Кулиша считала себя потомством «значных козаков» и всячески поддерживала свое привилегированное социальное положение по отношению к крестьянам, употребляя все усилия к тому, чтобы «не схлопѣти», говоря тогдашней формулой Кулиша, — не омужичиться. В особенности мать, пользовавшаяся большим авторитетом в семье и имевшая большое влияние на сына, поддерживала эти аристократические традиции: она выводила свой род от полковника Гладкого, погибшего от подозрительности Хмельницкого (этот эпизод коротко, но сильно переданный «Самовидцем» — только им в украинской историографии — вероятно, тоже не остался без влияния на симпатии Кулиша к этому автору и на отношение к Хмельницкому, как герою украинской народности). Большое значение на формирование своих социальных и культурных идеалов сам Кулиш придавал знакомству своей семьи с соседкой — «хуторной панією», соединившей высокий нравственный облик, редкую доброту с культурностью, высоко поднимавшей ее над окружающим провинциальным уровнем. Маленького Кулиша обласкали в этом скромном провинциальном приюте-убежище «муз и грацій», и, очевидно, с этих пор и на всю жизнь «панство» стало для него не символом эксплуатации населения и измывательства, как для идеологов крестьянства, с которыми потом его свела жизнь, а приютом гуманности, культуры и красоты жизни. «Демократическая душа отрока стала аристократическою, но не в отрицательном значении этого слова», — отметил этот этап своего сознания Кулиш в своей автобиографии. В действительности наряду с оппозиционным отношением к «пану», как эксплуататору трудового народа, от которого Кулиш не считал возможным отказаться, потому, что это было бы равносильно отрыву от национального движения, ставшего его религией, — он осознал в себе уважение к «пану» — проводнику и создателю культуры: оправдание его социальных притязаний. В этом раздвоении, которое потом стало трагедией его жизни и творчества, но в более раннем периоде еще не дало почувствовать своей трагической стороны, Кулиш, очевидно, все яснее осознавал сходство своих настроений с настроениями своих далеких «значных» предков и их выразителя «Самовидца». Его идеалом становится «значный хуторянин», совершенно в стиле «Самовидца»: «пан на всю губу»

в материальном отношении, самодовлеющий, независимый, не отрывающийся от народной этнографической стихии (вплоть до костюма), но с другой стороны не отказывающий себе ни в чем, что может дать ему цивилизация: в образовании, в наслаждении произведениями искусства и литературы («Листи з хутора», 1861). Всячески стараясь создать для себя лично такое материальное положение, он обращается к представителям украинского общества, обладающим таким положением, с призывом использовать его для осуществления своей культурной миссии. В своем воззвании к национально настроенной украинской интеллигенции («украинофилам», 1862 г.) он приглашает ее «составить средину между классом изнеженным, апатичным к успехам общего благополучия, и между классом невежественным, чернорабочим» и дать народу «образцы того, чем может быть небогатый, но и не убогий украинец, верный своим историческим преданиям». Наиболее симпатичным и близким ему выразителем остается для него, очевидно, все тот же «Самовидец».

В ряде поэтических произведений, посвященных его эпохе, Кулиш старается воспроизвести события в его аспекте, но не уверен, сумеют ли подняться на эту точку зрения его современники, стоящие на двух противоположных крайностях — панского аристократизма и мужицкого демократизма. Истинной правды о борьбе за освобождение XVII в. «пі шляхецьке, ні дейнецьке¹ не побачить око», — предупреждает он читателя в поэме «Великі проводи», посвященной восстанию Хмельницкого:

Прозирають у Славуту з уст до вершини
Не спанілі, не схлопілі діти України,
І поки дивитись будуть у Дніпрові води,
Поти будуть серцем чути давнії пригоди.

Относясь отрицательно к кровавым деяниям Хмельницкого, он в этой поэме противопоставляет ему героя, «поднимающего народный дух». Для этой роли он избирает европейски образованного Немирича, просвещенного аристократа-еретика, становящегося в ряды козачества из соображений социальной справедливости и ставящего ему высокие культурные задачи. Рисуя картины кровавого разгула козацкой черни, подсказанные «Самовидцем», Кулиш предсказывает, что будущие слушатели отвернутся от прославляющих эти кровавые подвиги певцов:

¹ «Дейнеки, дейнецтво» — этим термином Кулиш обозначает «своевольную чернь», эксцессы которой так возмущали «Самовидца».

Тільки посумують, слухавши тих співів
В пізні часи рідний брат із братом,
Що їх прашур тихий, богобоязливий,
Стався шляхти безсердечним катом.
Може тільки двоє на всю Україну,
Зазвонивши сумно у бандурні струни,
Оплачуть «срамотню давнюю годину»,
Як ви розбивали келепами труни.

Кулиш тут, очевидно, имеет в виду «Послание» Шевченка, оканчивающееся вдохновенным пророчеством:

І забудеться срамотня
Давня година,
І оживе добра слава,
Слава України...

Подчеркивая свою солидарность — «может быть только двух на всю Украину» (Кулиш ведь в это время считал себя преемником и заместителем Шевченка в области украинской поэзии), он, возможно, хотел огметить то же отрицательное отношение к кровавой славе Хмельниччины у Шевченка, приписывая честь такого критицизма себе — или открытому им «Самовидцу».

Резко выступить против самого Хмельницкого Кулиш долго не решился. Если «Самовидец» маскирует свое отрицательное отношение к нему, позволяя только при случае более или менее двусмысленные замечания относительно его поступков, Кулиш предпочитал вовсе не касаться его, по возможности, не говорить о нем. Если же приходилось излагать историю Хмельниччины «для наружного употребления», так сказать, — он придерживался традиционных воззрений на нее. Напр., в «Повести об украинском народе», сданной в печать как раз во время увлечения «Самовидцем», так описывается «срамотная година», которую потом оплакивал Кулиш: «Как полова у вейтеля на гумне отделяется от зерна, так отделились тогда от украинцев пань, католики, униаты и жида; и как земледелец собирает на току пшеницу в одну купу, а половину выметает вон, так собрал вокруг себя Хмельницкий всех истинных сынов своей родины и изгнал одним страхом своего имени все, что развратилось в роскоши, в чужеземных обычаях и сделалось негодным и вредным для своего отечества» (стр. 39). Только много позже, в одном из примечаний ко второму тому «Истории воссоединения Руси» (1874) он решился без обиняков высказать свое суждение

о Хмельницком и ему подобных героях «смут»: «Есть имена, которые, принадлежа даже ничтожным личностям, делаются кличем кровавой беды и внутренних смут на много поколений. Таково было имя Наливайка; таковы были имена Отрепьева, Хмельницкого, Стеньки Разина, Пугачева». — Читатель может недоумевать, найдя «козацкого батька» в таком сообществе, но лучшего он не заслужил у трезвого потомства. Он цветущий край наш превратил в пустыню, засыпанную пеплом и засеянную костями наших предков. Он надолго приостановил успехи культуры в нашей северной Славянщине. Он приостановил и школьное просвещение, доведя его до того, что уже и полковники, эти герцоги полновластного украинского владыки, не умели подписать великого договора собственною рукою. Если мы не имеем другого «Слова о Полку Игореве» и другой «Летописи» о том, «откуда пошла есть земля Русская», то, без сомнения, этим обязаны больше всего Хмельницкому. А что он присоединил отроженную Русь к Московскому царству, так эту задачу могут приписывать ему одни дети, да еще разве баюкающие детей бабы. *Он не мог не присоединить*; его принудили присоединить: принудила его к этому сила вещей, выковавшая украинскую нацию, и сама украинская нация, начинавшая уже и тогда проклинять его, как впоследствии проклинала Мазепу. Наконец, умирая, кого назначил он своим преемником? Слабоумного сына, о котором даже кобзарская дума говорит, что он «и розумом слабенький, та й тілом недугує». Назначил он того «Хмельниченка Юрся», за которого, по народной пословице, «пуста стала Україна, звелася». Проклятия украинского народа покарали Богдана Хмельницкого в сыне: отец начал свое военное поприще тем, что привел врагов святого креста в Украину, а сын кончил полным предательством Украины врагам христианства и сам сделался потурнаком» (стр. 143, 144).

Я думаю, что в этой тираде Кулиш очень близко подошел к взглядам Ракушки, ярко и четко расшифровал его замаскированные оценки, поставил все точки над *i*, может быть, даже в слишком большом изобилии. В этих тонах он позже написал свою «Историю отпадения Малороссии от Польши», посвященную специально восстанию Хмельницкого и изданную Московским обществом истории в 1888—1889 гг.

К самому козачеству в целом он сначала относился более милостиво, очевидно, уступая народной традиции. В своем первом очерке украинско-польских войн он оценивал последние, как протест народной украинской правды против феодально-шляхетского засилья: «Оце ж, де не задавлено ще на смерть руського духу по староруських землях, всюди там переховує простий люд скарби поезії, що пишно зацвіла на Русі разом з козаччиною,

засвідчує убогі каганчики праведної науки і, приникаючи до скривавленої землі своєї, окрива шаною зневажені предківські кости. Годиться ж, миле браття, й нам вивести до ладу початок великого товариства дніпрового, що прихилилося до його всяке живе серце руське, і лицарську завзятість козацьку поставило ідеалом неборимого народного духу, а правду, за котру козаки боролись з ляхами, зробило собі святим знаменем».¹

В той же книжці, в якій він розразився такою різкою тирадою по адресу Хмельницького, читаємо таке надгробне слово Косинському: «Так погіб малоизвестный, но достопамятный человек, начинатель кровавого дела, которое можно было бы назвать столетним разбоем, еслиб этот разбой не защитил русского народа от тех, которых нам заповедано бояться больше, чем убивающих тело. Но убивающим тело, в лице мусульман, козацкий разбой также положил не малую преграду к распространению ислама и к чужездности татарско-турецкой орды. Следовательно, Косинский имеет полное право на название деятеля народного, если не в положительном, то в отрицательном смысле. Открытием столетней борьбы с польско-русскою шляхтою он воспрепятствовал распространению антикультурных начал в нашей отрезанной Руси, а это дело не маловажное, каков бы ни был взгляд самого Косинского на последствия его козакотанья».² Тут за козацтвом в цілому ще признається позитивна роль, але скоро, подразнений отрицательним отношением української общественности к его резким выпадам вроде вышеприведенного, Кулиш почав з ожесточением рвать последние мосты, еще связывавшие его с «историческими традициями», которые он еще не так давно рекомендовал вниманию української интеллигенции. В своем послании «последнему козацкому кобзарю» (т. е. Шевченку), написанном в 1876 г., он произнес такой окончательный приговор над козацтвом:

Не поляже, кажеш, слава?
Отже вмере, поляже,
І унуки те забудуть,
Що дідам розкаже.
Занедбають по-тверезу,
Що по-п'яну снилось,
Ніби воля з панським правом
На Україні билась.

¹ «Первый период козацтва аж до ворогування з ляхами». Правда, 1868, стр. 15.

² История воссоединения Руси, II, стр. 55.

Ні! З порядком юсподарским¹
 Бились гайдамаки,
 Через лінощі—ветяги,
 Через хміль—бурлаки.
 Не герої правди й волі
 В коиші ховались
 Та з татарами братались,
 З турками еднались.
 Утікали в нетри слуги,
 Що в панів прокрались
 І, влизнувши з рук у ката,
 Гетьманами звались.
 Павлюківці й Хмельничани,
 Хижаци-пьяниці,
Дерм шкуру з України,
 Як жиди з телиці,
 А зідравши шкуру, м'ясом
 З турчином ділились,
 Поки всі поля кістками
 Білими покрились...

Одновременно написан был известный памфлет «Козаки по отношению к государству и обществу», в котором козачество без разбору представлялось сплошь разрушительным элементом, отбросами шляхетской Речипосполитой, «нигилистами и коммунистами XVII века», и за идеализацию их автор призывает на свой суд «современное козацкое стихотворство», т. е. новейшую украинскую литературу, с Шевченком включительно.

И здесь, опять-таки, нельзя не видеть преемства идеологии «Самовидца» (в особенности в подчеркнутых мною местах стихотворения), с тою лишь разницей, что в пылу своего раздражения Кулиш на этот раз берет за одну скобку уже всю социальную пестроту козачества, не делая разницы между «значными» и «сторожевыми» элементами и «гультейством», против которого обращал свое перо «Самовидец». Явственно чувствуются также переживания польско-королевского монархизма «Самовидца» в апологии монархизма, пересаженного Кулишем на российскую почву и приписанного в примечаниях к «Истории воссоединения», «украинскому простолюдину» в качестве его «идеала правды на земле». Не ясно, перенесли свои монархические чувства с польского короля на московского самодержца «Самовидец». Ввиду всего вышеуказанного я считаю это очень

¹ Курсив мой. М. Г.

сомнительным и полагаю даже правдоподобным, что Ракушке московское самодержавие представлялось мало желанной заменой польской Речипосполитой. Но Кулиш полностью расписался в благодарности российской государственности за спасение Украины от социальной анархии, от ненавистного ему, как и «Самовидцу», «дейнецтва» и «гультьяйства», очагом которого была Запорожская Сечь. Картина общественных и политических отношений Украины XVII в., нарисованная им в романе «Черная Рада» под впечатлениями рассказа «Самовидца» о событиях 1663 г.,¹ давала совершенно определенный вывод, подсказанный тем же «Самовидцем», что украинское козачество, сбросив с себя вместе с господством шляхты и власть короля, не сумеет создать собственной государственности, не будучи в силах совладать с анархией «черни» и Запорожья. Политические выводы из этих положений остались в этом романе не сформулированными; лишь в позднейших своих произведениях Кулиш дал полное выражение своим взглядам на исторические заслуги российских самодержцев, резко осудив «пьяную музу» Шевченка за неблагоприятные отзывы о Петре и Екатерине, как угнетателях украинской свободы. В числе поэтических креаций его последних годов имеем настоящие пэоны в их честь, и в числе их исторических заслуг центральное место занимает ликвидация запорожской вольницы.

Так совершенно ясно протягиваются многообразные идеологические нити от записок отставного подскарбия XVII в. к «открывшему» их эпигону значного козачества, отделенному от него двумя столетиями. Глубокие изменения в социальных и культурных отношениях, происшедшие за эти столетия, конечно, должны были отразиться на целях, которые ставили себе представители этого слоя во второй половине XVII в. и в половине XIX в. и на способах их осуществления. Но поскольку не вполне были изжиты основы старого крепостнического хозяйства, оставались и разные возможности переживаний и возрождений опытов и впечатлений старой руины XVII в.

Разумеется, творчеством Кулиша эти пережитки консерватизма, аристократизма и монархизма XVII в., отраженные в повестях «Самовидца», никак не могли ограничиться. В произведениях многих украинских писателей XIX в. и начала XX в. можно констатировать характерные ответвления этих течений; но изучение их вывело бы нас далеко за рамки настоящей статьи. Я ограничусь указаниями тех влияний, какие «Летопись Самовидца» непосредственно оказала на открывшего ее Кулиша, не ста-

¹ Первые главы «Черной Рады» появились в «Современнике» за 1845 г.; в полном виде она была напечатана в «Русской Беседе» в 1857 г.

раясь исчерпать всей многогранности этих отражений: напр., его признание, что разочарование в украинских летописях, вызванное в нем объективным словом «Самовидца», привело его к желанию выслушать и польскую форму, и что это внесло нечто новое в его оценку роли польской шляхты и ее культуры на Украине, — заслуживало бы специального анализа. Попутно я указал на отражения нового освещения, которое Кулиш под влиянием «Самовидца» стал давать польско-украинской борьбе XVII в. в своих беседах с членами кружка, в произведениях Шевченка. Пока этим и ограничусь.
